
Светлана ВОЛКОВА

КОРОБКА С ЗЕФИРОМ

Повесть

Почему Сева Гинзбург вышел из этой истории целым и невредимым, осталось загадкой для всех.

В тот полупрозрачный, начищенный до синевы день тридцать шестого года, когда август уже источился, а до бабьего лета было еще далеко, все собрались у Муры в последний раз.

Шуршала пластинка с Лещенко, звенели стаканы и оставшиеся от барского сервиза пузатые бокалы, шелестела сама Мура — своим легким шифоновым голосом и складками просторного зеленого платья, скрывавшего ее всю, от горла до пят, и делавшего ее похожей на перчаточную куклу. Лились голоса, и было так легко и уютно в ее маленькой квартирке в Соляном переулке, что все вне этих стен казалось далеким, искусственным, происходящим где-то в другом, придуманном, театральном мире. И транспарант с портретом Кирова, край которого был виден из узкого Муриноного окна, и вышагивающие строем по улице курсанты-красноармейцы, и прохожие, чему-то незаслуженно радующиеся. И сам город.

В этот раз удалось собраться всей Артели, как они сами себя называли. Пришел даже Шляпников, всегда элегантный, с заграничным лоском, влюбляющий в себя всех поголовно, от пионерок до старух, любимчик фортуны и страшный болтун. Скарлатинным обложенным языком змеился его галстук, приковывая внимание дам, поблескивали итальянские запонки из гагата, скрипели новые лаковые туфли — даже если за вечер он не проронил бы ни слова, все равно наутро многие бы поклялись, что имели с ним душевный разговор.

Пришел он не один, а еще и прихватил Борьку Райского, поэта и скандалиста, чем обеспечил балаганное настроение на целый вечер. Борька, переболевший в прошлое десятилетие нэпом, как детской корью, одевался подчеркнуто «массово», по-советски — в то, что лежало на прилавках и носилось на каждом втором ленинградце. И эти мешкообразные коричневые брюки, и белая сатиновая рубашка, вытертая на локтях, и ремешковые сандалии так контрастировали с его шумной натурой, беспокойными ручками, купеческим носом-уточкой и полными, похожими на барбарис губами, что вся Артель неизменно просила Севу «бросить все» и написать Борьку — а хоть бы

Светлана Васильевна Волкова родилась в Ленинграде. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, специализируется в области романо-германской филологии. Автор романа «Подсказок больше нет» (АСТ, 2015), получившем национальную премию «Рукопись года» на X Международном книжном салоне в Санкт-Петербурге. Лауреат литературной премии им. Александра Куприна (2013, 2017), премии им. Гоголя (2016). Печаталась в журналах «Нева», «Крым», «Берега», «Балтика», «Дружба народов», «Октябрь», альманахах «Молодой Петербург», «Невская перспектива», «Свидетельства времени» и «Русский стиль». Живет в Санкт-Петербурге.

и карандашом, а хоть бы и только одно рыльце. Сева обычно хмыкал и соглашался, и рождалась карикатура — милая, чуток гротесковая, и Борька хохотал, бил себя по ляжкам, вытирал бисерные капли пота со лба дамским носовым платочком, но потом недели две дулся на Севу.

Вернулся из Москвы включенный Лоскутенко с ворохом отпечатанных на машинке листов в замусоленной папке на тесемочке, и гости осторожно переглянулись с Мурой: не грозит ли это читкой рифмованной зауми до ночи. Но Мура всех успокоила, стрельнув глазами на батарею непечатых водочных бутылок на подоконнике: все в Артели знали, что алкоголь действует на Лоскутенко как хороший кляп. Изрядно выпив, он мог заткнуться на середине стихотворной строчки и больше за вечер не проронить ни слова. Правда, довести его до этого спасительного для всех состояния было отнюдь не просто, требовалась умелая дозировка, но Мура справлялась.

Еще в прихожей Лоскутенко кивком подозвал Севу и сунул ему коробку с зефиром, перевязанную крест-накрест грубой бечевкой. На недоуменный Севин смехок он ответил: «Возьми домой, потерять боюсь, я же могу напиться сегодня. А на днях загляну к тебе, почитаем, что не для лишних ушей, не для Муркиной шушеры».

Сева сладкого не любил, но кивнул, заранее кисло предвкушая убитый вечер вкупе с сомнительным счастьем слушать долгопятые вирши, и почувствовал кусачую тоску от невозможности увернуться от непрошеного гостя. Ладно уж, подумал он, попьем чаю, поговорим, не до утра же, в самом деле. Положив коробку поверх своего портфеля, горевавшего в прихожей в компании таких же полужеваных кожмитовых собратьев, Сева услышал очередную трель дверного звонка, на этот раз развеселым кодом: короткий — пауза — длинный и три коротких. Так обычно звонил только Жорка Аванесов, и Сева невольно заулыбался, радуясь, что компания наконец-то разбавится понастоящему нескучным человеком.

Жорка тоже пришел не один — с новой юной девицей, молчаливой и пугливой, бесцветной, как мучной червь, одетой во что-то ситцево-серое, с мышинового цвета пучком тонких волос, забранных в хвост осыпающейся шелковой тесемкой. Она невыносимо страдала, не находя себе места в шумной компании, цеплялась коготками, как ялтинская обезьянка, за Жорино плечо, и лишь когда Мура милостиво позволила ей помочь на кухне, впервые улыбнулась, радуясь спасительной возможности хоть где-то себя применить. О ней даже шептаться было скучно. Прозрачная дева, каких у Аванесова был кулек с горкой, так впечатляюще нелепа и оскорбительно юна, она не ходила, нет, а тихо курилась над сидящей по-восточному на ковре встрепанной компанией (стульев у Муры всегда не хватало) и удивительно сливалась с мебелью, оконной кисеей, обоями, посудой и книгами, что даже Мура, с ее наметанным хозяйским глазом, вливаясь в комнату с подносом еды, вертела головой, не сразу находя ее, и вздрагивала, когда поднос подхватывался из ее рук кем-то услужливо-невидимым.

Нет, все же потом пошептались немного. Было непонятно, как Жорка, удачливый и неглупый журналист «Смены», со связями и хорошим французским, с толстой записной книжкой телефонов и адресов самых лакомых ленинградских красавиц, мог хотеть угоститься таким вот рядовым грибом-сыроежкой — ни в суп, ни в сушку. Разве что, да, юна, юна. Впрочем, последние годы Аванесов, так отчаянно стремившийся оставить свое семя неважно в ком, главное, скорее, скорее и много, много, плодил брачных и внебрачных детей по штуке в полугодие, будто чувствовал, что жить ему оставалось ровно шесть лет, до первого боя в штрафной роте под Госно. Так что появление тонкой папиросной девы было в своем роде даже предсказуемо и оправданно.

Последними пришли две дамочки. Ларисса — именно так, с двумя «эс», по-фессалийски — была завсегдатаем Муриных сборищ, хотя саму Муру не любила, считала на-

пыщенной гордячкой. Мура же всегда смотрела на Лариссу снисходительно, мол, что взять с музыкальной критикессы, обезображенной ежедневным морально-духовным промискуитетом с советскими поэтами-песенниками. До прилюдных перепалок обе дамы никогда не опускались, но не упускали шанс вставить друг другу шпильки в частных разговорах на прочих сборищах и, разумеется, если соперница при том не присутствовала.

Ларисса ходила к Муре из-за Севы. Тот это знал, но не подавал виду. Впрочем, ему нравились женщины Лариссиного типа — пышные в груди и бедрах, с полными округлыми руками и при этом тонколицие, с алебастровой кожей и аккуратными точеными носиками. Но Ларисса чем-то отпугивала его, и что в ней было не так, он сказать бы не мог. Просто, наверное, не хотел ее.

Лариссина приятельница Соня Павич, наоборот, Севу не переваривала, а Муру обожала, дарила ей недешевые торгсиновские духи и всячески гордилась дружбой с ней. Соня была намного умнее и интеллигентнее большинства артельских шалманщиков, хоть и работала простым методистом в Политехническом. Она знала наизусть много стихов, приятельствовала с Ахматовой и Шкловским, но не кичилась этим. Ее мягкое лицо в легком кружеве черных с ранней сединой кудрей любому новому гостю непременно казалось знакомым, и он силился вспомнить, где видел Соню, — а нигде он ее не видел, просто такие лица, нетипичные для среднесоветской массы, все же бултыхались у каждого где-то на доньшке подсознания, и эта эфирная радость узнавания мгновенно делала Соню близкой, доступной к беседе о бытовых мелочах, полностью располагающей к себе.

Было еще человек шесть, из всегдашнего Муриногo окружения, все околотеатральные, много курящие, спорящие — в общем, привычные, свои. Приглашением в дом дорожили. Кто-то обронил в тот вечер: «Пока собираемся у Муры, солнце встает на востоке». Было приторно от этих слов, но и правда тоже в них была. Есть Артель, есть Мура и ее вечера, и значит, все хорошо.

Мура была неофициальной вдовой большой партийной шишки, и любовник ее, умерший от разрыва сердца прямо на заседании какого-то местного президиума два года назад, незримым образом продолжал благодетельствовать Муре и после своей смерти. Ее не трогали. Сева не раз шутил, что *Мура* водит *шуры-муры* с загробным миром и что фавор высокопоставленного покойника очень скоро обернется всем о-го-го какой лямбдой, но его не слушали. Поверить в то, что с Мурой и ее окружением произойдет хоть какая-нибудь малая неприятность, было невозможно.

Но неприятность произошла. И немалая.

Первым взяли Шляпникова. На следующий же день. Шляпникова! С его-то тестем в правлении Союза писателей, со связями в торгпредстве и личной дружбой с семьей Енукидзе! Через несколько часов после ареста незванные гости заявили к Муре и долго выспрашивали подробности вечера. От них она и узнала об аресте Шляпы, а вот зачем, они ей это сообщили, было непонятно — не иначе, с определенным умыслом. Мура строила из себя богемную дурочку, путала падежи и имена, смеялась на каждый вопрос, пыталась вызвать в служивых людях участие к своему дебилизму, и к ночи от нее отстали. Ей не пришлось никого «сдавать». Список гостей и машинописные распечатки, кто что говорил, уже были у них — Мура краешком глаза углядела, когда молоденький лейтенантик разложил компроматный пасьянс у нее на плюшевой скатерти. Рядом стоял сутулый в штатском, он что-то ей все время шептал с полуулыбкой, но что, она не помнила, лишь только смотрела на его рваное, как от собачьей драки, ухо и заворуженно кивала.

* * *

Сутки позже, когда артельцы разбирали по ниточкам каждую молекулу того вечера у Муры, пытаясь вспомнить, что и в какой момент пошло не так, никто толком ничего и не придумал, были лишь осторожные домысливания. Да, говорили о гражданской войне в Испании, но о ней тогда говорили все. Мусолили тему скандала с Шостаковичем и снятии «Леди Макбет Мценского уезда» из репертуара Ленинградского Малого оперного за малохудожественность и «сумбур», как писала «Правда». Но ведь ничего политического, да и скандалу-то уже полгода, а то, что опера с помпой идет за границей, так это не секрет. Может быть, кто-то «Правду» слегка покритиковал, но ведь музыка же, ничего крамольного! Еще Ларисса остро высказывалась о публикациях Сейфуллиной и Суркова, досталось и Слонимскому, и кто-то пошутил, что у Лариссы просто неприязнь к литераторам на букву «С». Посмеялись, сопоставили с двойной «эс» в ее имени, притянули-зарифмовали-поерничали. А и все.

...Встретились в Таврическом саду, у новой эстрады. Сева организовал общий сбор, пришли все, кроме Жоры Аванесова, уехавшего по заданию своей газеты делать репортаж в каком-то передовом колхозе. К этому времени бедный Шляпников был уже двое суток в НКВД, и сведений о нем достать не представлялось возможным. Мура сидела на скамеечке бледная, какая-то монолитная, как заметила Соня, подобная вятской игрушке — сделанная из одного куска глины.

— Я ведь нечасто выхожу из дома последний месяц. Из-за давления, — Мурын шепот заглушал голосистый чтец, вцепившийся в стойку микрофона на краю эстрады. — Когда они успели поставить?..

Она не сказала «прослушку», но все поняли.

— Машенька, да неужели? — охнул Лоскутенко.

Мура пожалала плечиками.

По пятому разу вспоминали болтовню за ужином, и каждый пытался выудить из памяти, что говорил именно он. И все откапывали у себя что-то очень страшное. Сева называл это «эффектом сказочника»: когда вспоминаешь то, чего не было, домысливаешь, вливаешь несуществующий смысл в незначимые фразы и действия. Варишься в первичном параноидальном бульоне. Сам себе шьешь статью, проще говоря.

— Шляпу взяли! Шля-я-я-пу! — подскуливала Ларисса, хватаясь за голову, и выглядело это так, будто она собирается рвать на себе волосы.

Трезвомыслящим оставался лишь Борька Райский. Почесав мощный затылок, он басовито изрек:

— Хватит об этом думать. Ничего ТАКОГО сказано не было. Я ручаюсь. Я трезв был.

Легче от его слов не стало. Ну, может, самую малость. И тут вспомнили про недавно изданную книжку «Песнь о Вещем Олеге» с иллюстрациями Васнецова. Книжица эта, тонкая и хлипкая, лежала у Муры на этажерке, пока Сева — да-да, это был Сева — не пустил ее по рукам, тыча пальцем в картинку на обложке. А там, а там... Если внимательно смотреть... На Олеговом мече узор, и видно же, ей-богу, что будто выведено «Смерть Сталину». И усатый профиль на ножнах. Это если приглядеться. Все и пригляделись. Хмыкнули! Ай да Васнецов, икается ему небось на том свете. Тисненый узор, каким задумал его живописец, претерпел лукавое превращение, обезображенный топорной советской печатью. В этом-то и была фатальная ирония судьбы, черт бы побрал этого Севу, — ведь никто бы ничего и не разглядел, если бы он носом не ткнул.

И Борька, профильтровав через могучий мозг те расстрельные две минуты, когда книжица гуляла по рукам, весомо произнес:

— Так молча ж все было! Руку даю на отсечение!

Лоскутенко закивал, мелко тряся головой и украдкой поглядывая на Севу. И артельцы согласились с Райским, кристально отмыв до скрипучего блеска в памяти тот роковой эпизод. Многие зачем-то вспомнили, что даже не прикасались к книге. Книга плыла над тарелками, и все происходило беззвучно: кто-то лишь ухмыльнулся, кто-то заговорщицки прищурился, кто-то поднял вверх большой палец — о том, кто это был, все великодушно решили умолчать. По поводу казусов иллюстрации не было оброрено ни одного слова.

Так как же прослушка?

Мысль о том, что стукнул кто-то свой, пугливо дергалась в каждой — каждой! — голове. И было неуютно смотреть друг-другу в глаза, как если бы ты подозревал своего собрата-артельца или же раскрывался донага сам, и хотелось начать ни с того ни с сего оправдываться. Повисла тяжелая душная пауза.

— Хватит, — сказала Мура. — Будем считать, что надуло ветром.

«Надуло ветром» — из ее уст прозвучало как издевка. И в головах возник образ-монстр: открытое Мурино окно, под ним — топтун, не слышит, не слышит, что происходит, а пауза затянулась, что они делают, что там делают-то? — и вот в окно с улицы вplывают серые глаза, обязательно серые, у них, у «этих», у всех такие, и плывут глаза над макушками сидящих на ковре гостей, заглядывают в книжку...

И был этот образ настолько четок, что почти физически реален. В самом деле, не мог же артелец сдать артельца!

И вот тогда все вспомнили про тихую незаметную аванесовскую девочку. Ее имя никак не нашупывалось, что-то блеклое, как и она сама, и кто-то едва слышно произнес: «Кажется, ее звали Ксюша».

* * *

Певец на эстраде затянул «Сердце, тебе не хочется покоя», подавая хрипотцу «под Утесова» и картинно запрокидывая голову.

— Ты вот что... Сожги тетрадку-то, — нервно дернул плечом Лоскутенко, когда Мура и остальные разошлись. — Прямо сейчас вот дуй домой и... и быстро...

— Тетрадку? — Сева поднял брови.

— Не дури, брат, — Лоскутенко осторожно оглянулся по сторонам и приник к самому Севиному уху. — В коробке с зефиром была. Там стихов на «вышку»...

Сева оторопело уставился на него. Лоскутенко многозначительно прикрыл веки вместо кивка. На краешек скамейки, где они сидели, с шумом приземлился голубь и бесстыже громко заворковал.

— Но у ме-ня нет тво-ей тет-рад-ки! — по слогам процедил Сева. — Она у Ксюши этой осталась. Мура ей коробку с зефиром в руки сунула, когда они с Жоркой уходили. На, мол, девочка, поешьте там, мне сладкого гости и так с три короба надарили. Я и не стал вмешиваться, мол, коробка моя, чтобы хозяйку в неловкое положение не поставить. Да что ж ты раньше-то... Хоть бы намекнул!

Лоскутенко беззвучно захохотал одними ноздрями. Сева выругался про себя и потерял виски.

— Черт тебя дернул! С какого перепоя тебя на антисоветчину потянуло? Писал бы дальше про льдистую любовь или как там у тебя...

— Молчи... — завыл Лоскутенко. — Не мое там. Из Москвы привез. Таких людей под монастырь подвожу!!!

Рядом на скамейку сели двое с сумрачными лицами, и Сева невольно поднялся. Лоскутенко вспорхнул вслед за ним. Молча они прошли до ограды, каждый переворачивая в голове громоздкие свинцовые мысли.

— К Жорке поеду, надо девку его найти, — на прощание молвил сухим голосом Лоскутенко.

— Так в отъезде ж он!

— К вечеру отправлюсь. На квартире у него подожду.

Когда Лоскутенко ушел, Сева еще долго бродил по Таврическому саду, размышлял, соображал. Может быть, это нелепое совпадение, и у органов какие-то свои виды именно на Шляпникова? Очень хотелось бы верить, что его арест не касается всей Артели. Но обыск у Муры и те вопросы, которые ей задавали, — очень-очень плохой знак. Теперь вот еще тетрадь эта, будь она проклята! Если и правда в эту историю вписана тихая Ксюша, то пострадают люди. Если верить Лоскутенко, хорошие «большие» люди. Сева почувствовал острую вину перед ними, пусть и косвенную, но вину, ведь именно из-за него, остолопа, может случиться очередная беда. Надежда на то, что девушка не любит сладкое, была утопична и нелепа. Оставалось уповать, что коробка еще не почата, дожидается какого-нибудь события — гостей, например, — или отложена как переходящий подарок для визита. Мысли вертелись быстро, юрко, тянули за собой другие, третьи, совсем замусорили голову.

В саду было много гуляющих, шумели дети, и голос певца с эстрады слышался даже на самой отдаленной дорожке. Сева еще немного покружил и отправился к Лоскутенко в Калужский переулок. В конечном итоге они оба причастны к случившемуся — нет, пока еще, будем надеяться, не случившемуся, — и оставлять Лоскутенко одного в этой ситуации Сева посчитал не по-человечески.

Уже поворачивая к его дому, он увидел припаркованную во дворе черную «эмку» с шофером внутри и сразу понял все. То, что автомобиль мог просто ожидать какого-нибудь чиновника или академика, даже не пришло Севе в голову. Лишь под сердцем кольнуло, что вопреки бродившим с июля в издательских кругах слухам «наведываются», оказывается, не только ночью. У соседней парадной, на тротуаре, стояла пузатая бочка с пивом, к которой тянулась взъерошенная очередь с бидонами. Сева, не замедляя шаг, надвинул кепку на глаза и пристроился в ее шевелящийся хвост. Ждать пришлось недолго: минуты через две двое в штатском вышли вместе с Лоскутенко — красным, в застегнутой не на ту пуговицу рубашке, напуганным до звенящих чертей в глазах. За ними позади шел немолодой сутулый мужчина, тоже в штатском, с чуть перекошенным плечом и обезображенным ухом на несуразно большой голове. «Будто собаки рвали», — подумал Сева и ощутил капельку пота, стекающую по позвоночнику.

Они остановились возле «эмки», и один из провожатых подтолкнул Лоскутенко к раскрытой двери. Тот что-то суетливо говорил, вертел головой и вдруг заметил Севу в очереди. Сева молниеносно наклонился завязать шнурок на ботинке, ругая себя самыми последними словами — ну что он, в самом деле, идиот какой, зачем приперся сюда и почему не ушел сразу, как только почуял неладное. Когда Сева осторожно выпрямился, «эмка» уже заворачивала за угол.

— Товарищ Гинзбург, — кто-то потянул его за рукав.

Сева обернулся. Перед ним стояла маленькая востроносая девушка, подруга Лоскутенко и, как он смутно припоминал, его литературный секретарь.

— Зина? — с трудом вспомнил ее имя Сева.

Они отошли подальше от людей, и очередь мгновенно сомкнулась, будто была каучуковой, поглотив оставшееся после Севы пустое место.

— Что случилось?

— Не знаю, — Зина всхлипывала, но старалась держаться. — Я думала, вы знаете.

— Но какое они обвинение предъявили?

— Ванечка ни в чем не виноват, надо идти вызволять его! — на одной ноте протянула Зина и тут же разрыдалась.

Сева потряс ее за плечи, вытер слезы чудом оказавшемся в его кармане носовым платком. Утешать он никогда не умел, да и что тут скажешь. Вызволить? Конечно, конечно. Но как? Куда идти? Сразу на Литейный? Кому звонить? В подобном случае первое, что приходило в голову, — срочно бежать к Шляпникову: если кто-то и мог помочь, то только он с его могучими связями. Только вот Шляпникова-то самого взяли, и неизвестно еще, сработают ли его знакомства на пользу ему самому.

— Ваня успел шепнуть мне, чтобы я вас нашла. А вы вот как раз и здесь... — снова всхлипнула Зина.

— Он что-нибудь еще передал?

— Нет. Сказал, вы догадаетесь.

Сева нахмурился. Вот оно как теперь выходит...

— А что такое Артель? — вдруг спросила Зина, прервав его сумбурные мысли.

— Артель? — Сева вздрогнул. — Артель — это... ничего не значит. Мы, наша компания, в шутку так себя называем. От «арт» — искусство то есть. А почему вы...

— Они спрашивали, — выдохнула Зина, и у Севы заиндевело внутри.

Больше из Зины ничего путного вытрясти не удалось. Она шмыгала носом, на каждый вопрос закатывала глаза и тянула тоненько: «Ванечка...» Сева не нашел ничего лучшего, как посадить ее на троллейбус и отправить в общежитие Института культуры, где, собственно, она до интрижки с Лоскутенко и проживала.

Домой, в свою коммуналку на Марата, Сева пойти не решился. Кружил по городу, петляя дворами-колодцами, ныряя в них на Литейном и выныривая на Моховой, чтобы снова нырнуть и оказаться уже на Фонтанке. Каким-то немислимым образом никак не удавалось вырваться из чар Муриной квартиры, ноги снова и снова несли его к Соляному переулку, и уже дойдя до него, Сева быстро разворачивался и спешил прочь. Из телефона-автомата на улице Пестеля он позвонил в издательство, где работал, но, как назло, там все время было занято. И он снова вышагивал по душным августовским улицам, колдовской центростремительной силой притягиваемый магнитом к Литейной части, и снова возвращался к той деревянной таксофонной будке на Пестеля. Наконец в трубке раздались длинные гудки, и Сева долго вслушивался в удаляющиеся шаркающие шаги пожилого секретаря — тот должен был позвать редактора Люсю Парашютову. Сердце Севы колотилось часто-часто, а Люся все не подходила. И когда — спустя вечность — он услышал ее войлочный, прокуренный, такой родной голос, смог выдохнуть только: «Люська, это я».

Она как ни в чем не бывало с легким матерком пожурела его за лень и за то, что не спешит со сдачей иллюстраций к книге Новикова-Прибоя, обозвала «иллюзавцем» — от смеси «иллюстратора» и «мерзавца», и Сева готов был расцеловать грязную телефонную трубку: в редакции все было, как и прежде.

— Похоже, меня никто не спрашивал?

— Да тебя тут все вспоминают всеу. Главред особенно, — она выдохнула прямо Севе в ухо, и он почти физически ощутил запах ее дешевых папирос.

Значит, на работу «они» не заявлялись.

— Ты когда придешь? — шумела Парашютова.

— Люська, можно я у тебя заночую?

— Случилось что, Гинзбург?

— Не телефонный разговор. Никому не говори, что я звонил, ладно?

— Ладно, — помолчав, шепотом ответила Люська, — друзья ж все-таки. Приходи к девяти. Мой в командировке в Астрахани. И не бойся, никому не скажу про твою ночевку у меня — что я, дура, так свою девичью репутацию тобой позорить?

С Люськой Парашютовой было хорошо и просто. Ей стукнуло тридцать восемь, и дружили они с Севой уже лет двадцать, с самых первых студенческих годков. Ни романтических, ни даже примитивно плотских отношений у них никогда не было, и, может быть, именно этот факт и позволил им сохранить крепкую «пацанскую» дружбу. Люся рано выскочила замуж за неизвестно откуда выкопанного ею Витюшу, скромного очкастого инженера-химика из Гипро... что-то там, Сева уже забыл, и удивительным образом оставалась верна ему, хоть и принадлежала к шумной и неразборчивой до связей литературной богеме.

— Что намерен делать, Гинзбург? — тяжело вздохнула Люся и открыла очередную пачку «Беломора».

Они пили десятую, наверное, чашку чая напополам с коньяком в ее длинной узкой кухне на Петроградке. Квартира была хоть и коммунальной, но всего на две семьи, и Люсины соседи гостили у родственников в деревне, чему Сева с его возросшей за последние сутки параноидальной подозрительностью несказанно обрадовался.

— Хочу найти ее.

— Кого? — Люсины глаза округлились.

— Эту самую Ксюшу.

— Гинзбург, ты в своем уме?

Она сидела напротив, большая, грушеобразная, в темно-вишневом мужнином безразмерном свитере, с копной крашенных рубиново-рыжих волос, рассыпанных по плечам, и напоминала ему стекающую по стулу каплю густого сиропа.

— Красиво подставиться хочешь? — Люся выпустила ему в лицо струйку дыма и посмотрела на Севу как на увечного.

— Люська, надо. Тетрадка у нее.

— Тетрадка ваша уже, сдается мне, не у нее, а у кого следует.

— А вдруг нет?

— Надежда на то, что молодая деваха не полакомится зефирчиком в тот же вечер, утопична, как путь к коммунизму, Гинзбург.

Сева затравленно взглянул ей в глаза.

— Может, она Жорке коробку отдала? У него ж детишки...

Люська пожала плечами:

— Да Жорка твой, если он кобель породистый, не взял бы. Ей сунули, пусть и ест. А то и вообще про детей ей не сказал, знаю я вас, левачков.

Сева обхватил голову руками, зарылся пальцами в кудрявую шевелюру.

— Люська, я не понимаю, что происходит. Не восемнадцатый же год! Это какая-то нелепая ошибка. Четверо наших взяли, и, чую, я следующий!

К этому времени благодаря разведке верной Парашютовой он уже знал, что арестовали не только Шляпникова и Лоскутенко, но и Борю Райского с манерной Лариссой. На работу Соне Павич дозвониться было невозможно, как и Жоре Аванесову, а на квартиру Муры Сева Люське звонить запретил, но еще сегодня часов в восемь вечера она прогулялась в Соляной: в окнах Муры горел свет, а на кривеньком балкончике сушился половичок. Это, конечно, могло ничего не значить, но все же...

Что происходило с другими, шапочно знакомыми Севе визитерами тех роковых Муриных посиделок, ему думать было некогда. Не до них.

— Сиди тихо, ничего уже не сделаешь! — выдохнула Люська и по-старушечьи покачала головой.

Он хотел было сказать, что тихо сидеть где-нибудь в укромном уголке, ждать ареста и вздрагивать от каждого тараканьего шороха для него хуже смерти, но промолчал.

— К матери в Киев езжай, — после длинной паузы подала мысль Парашютова, но тут же сама замахала руками, точно от мухи отмахивалась. — Ой, нет, Севка, нет, конечно, не вздумай!

— Я и сам понимаю... — Сева задрал голову и посмотрел в потолок. — Люська, если что, ты там напиши ей...

— Разумеется.

Мысли снова забурлили. Захотелось убить Ксюшу, убить как-нибудь изошренно. Но сперва, конечно, во что бы то ни стало найти ту чертову коробку.

— Да ты сбрендил, Гинзбург! — вскипала Парашютова, сдабривая отборным матом каждую паузу в произносимой фразе. — Какого ляда? Что ты ей скажешь? «Привет, с..., это я, ты не забыла меня сдать? Что-то меня никто не хочет?» Ты мозги последние растерял? Напомни ей про лоскутенковский зефирчик, не забудь прибавить, что это тебе, тебе коробочку-то подарили. А, Гинзбург?

Люська была, безусловно, права. Где-то на подсознательном уровне Сева осознал, что затея так себе, но думать о чем-нибудь другом, кроме как о том, чтобы найти Жоркину подругу, уже не мог. Самое главное сейчас было выудить и уничтожить те записи, за которые, как сказал Лоскутенко, «вышка». Причем не только неизвестным ему московским авторам, но и всей Артели.

— Ну и что ты с ней сделаешь? Ножом пырнешь? — язвительно цедила Люся. — Чтобы уж точно под расстрел, наверняка?

— Может, и ножом. Если это она всех сдала.

— Ты на себя давно в зеркало глядел? — Парашютова приоткрыла дверцу старого буфета, и в мутноватом стекле с прорезанной вертикально цепочкой ромбиков Сева увидел свое осунувшееся лицо, уставшие глаза за круглыми очками, набухшие от бессонной ночи синеватые нижние веки, копну кудрявых каштановых волос, торчащих, как пучок петрушки в стакане. — Тоже мне, урка нашелся!

Люська хмыкнула и знаком дала понять, что ее тошнит и разговаривать на эту тему она не намерена.

* * *

Сева пробыл у Парашютовой два дня, больше не представлялось возможным: возвращался из командировки муж, и вдвоем в их маленькой комнате ночевать было тесно, да и неприлично.

Его снова потянуло в Соляной, к Муре. Он наматывал круги от Пестеля до Фонтанки, от Моховой до Гагаринской, и когда наконец решился подойти к Муриному дому, не чувствовал ничего, кроме огромного пульсирующего сердца в левом подреберье.

Стоял душный вечер, и окна Муриной квартиры были открыты настежь. На балконишке, помимо запеленганного пару дней назад Люськой половичка, сушилось еще что-то желтое. «Так не похоже на Муру!» — подумал Сева. В окне мелькнула чья-то голова, он пригляделся: девочка-подросток, совсем еще ребенок, поливает цветы на подоконнике. Все мирно как будто. Но кто эта девочка? Племянница? У Муры вроде родственников в Ленинграде нет...

«Глупости! — гнал от себя дурные мысли Сева. — Не могли же выселить и сразу заселить!»

Или могли?

Пока он размышлял, отдаваясь на волю желчным, уродливым мыслям, едва не упустил эту самую девчущку, выпорхнувшую из парадной с тряпичной сумкой в руках. Сева осторожно последовал за ней и нагнал уже в булочной. Уткнувшись носиком в горбатую стеклянную витринку, девочка разглядывала сайки и булочки.

— Привет, — как можно небрежнее сказал ей Сева. — Я не ошибаюсь, Мария Феликсовна тебе родственница?

Девочка испуганно посмотрела на Севу пронзительно-синими глазами и ничего не ответила.

— Мария Феликсовна... — повторил Сева, пытаясь успокоить ее самой мягкой улыбкой, на какую был способен.

Девочка ничего не ответила, лишь всосала сквозь зубы воздух и ринулась к выходу, ненароком задев толстую тетку в старомодной вуалетке. Тетка обозвала ее малолетней хамочкой и подозрительно уставилась на Севу, будто ожидая от него извинений. Он надвинул кепку на брови и быстро зашагал прочь.

Сколько еще можно было таким неприкаянным скитальцем наматывать круги по городу, Сева не знал, но чувствовал, что силы уже на исходе. Часам к пяти ноги привели его к Овсянниковскому саду, где выгуливали детсадовскую малышню. Он сразу узнал двух пацанят-близнецов Мишу и Гошу, законных отпрысков Жоры Аванесова. На то, что их придет забирать сам Жорка, как тот обычно делал по пятницам, надежды, разумеется, не было, но Севе повезло: почти сразу он увидел Марьяну, Жорину жену. Она шла в воздушном крепдешининовом платье в мелкий горох, на ходу заправляя выбившийся локон в высокую прическу, махала лаковой сумочкой в такт каблуккам и несчастной отнюдь не выглядела. Сева стоял за широким тополем, курил, осматривался. Вроде она одна. Или кажется? Подождав, пока Марьяна переговорит с тощей воспитательницей и возьмет за руки своих мальчишек, Сева осторожно отодрал себя от тополиной тени и направился к ним.

— О, Сев, ты как здесь очутился? — ответила на его нетерпеливый оклик Марьяна.

— Привет, где Жора? — Сева с трудом сдерживал волнение.

— Да уехал на рыбалку с Борей. Еще во вторник, сразу после репортажей этих своих в синявинском колхозе. А тебя что, не взяли?

— Не взяли, — угрюмо буркнул Сева, оглядываясь по сторонам и внутренне содрогаясь от этих двусмысленных железистых слов.

Марьяна весело щебетала, с трудом удерживая рвавшихся убежать мальчуганов. Как так может быть, что она ничего не знает?

— Когда Жорка вернется?

— Да послезавтра утром должен. У свекрови же именины в субботу, мы пойдем. Если мой будет в состоянии, конечно, знаю я ваши рыболовные грешки.

Она залиvisto хохотнула, подмигнув Севе, и ему вдруг подумалось, что, может, это на него нашел морок, а на самом деле все в порядке. Не было НКВД, арестов, не было напуганных до смерти глаз Лоскутенко, не было девочки, обитающей теперь в Муриной квартире... Не было, не было, ничего не было... Это он, Сева Гинзбург, просто сходит с ума... Только вот Борю Райского, как ему сообщила Парашютова, как раз во вторник и взяли. Хорошая рыбалочка получилась!

— Марьян, а Жора как тебе о рыбалке сообщил?

— Позвонил, у нас телефон уже полгода как поставили, ты не знал?

— А откуда позвонил? — не отступал Сева.

— Да из колхоза этого своего, из Синявино, еще так плохо слышно было...

— Ну?

— Что «ну»? Сказал, мол, в газете дали четыре дня выходных, и смысла возвращаться в Ленинград нет, они с Райским сразу на Ладогу махнут, пока погода не испортилась. Да что ты так разволновался-то?

Сева сглотнул, не зная, как подступиться к главному мучившему его вопросу.

— Марьяш... А он, случайно, домой зефир не приносил? В коробке? В воскресенье?

— Зефир? Нет. А почему...

— Мне позарез, — резко перебил ее Сева, — вот позарез нужно найти одну его... нашу общую знакомую. Ксению. Ты не слышала ничего о ней?

Глаза Марьяны сузились. При всей Жоркиной любвеобильности надо было отдать ему должное: нервы законной супруги он берег, и надежды на то, что ревнивая Марьяна хоть что-то знает про Ксюшу, не было никакой. Но она вдруг хмыкнула и заявила:

— Ксюха? Козлова?

— Я не знаю ее фамилии. Понимаешь, я дал ей журнал, очень важный, мы встретились у знакомых... — Сева моделировал на ходу, ругая себя за то, что не сообразил, балбес, придумать какую-нибудь правдоподобную историю. — Может, и не она.

— А больше Ксений я не знаю.

— А как твоя Козлова выглядит? — без энтузиазма спросил Сева.

— Ну... — протянула Марьяна, — невзрачная такая, мышь серая.

Сева оживился. Впрочем, для яркой Марьяны каждая вторая девушка вполне подходила под определение «серой мыши».

— В Тайцах она живет. Кажется. Адреса не знаю. Да ты в «Смену» сходи. Она там корректором работает, Жорка ее из жалости приютил — рассказывал, увечная она маленько: под трамвай в юности попала...

Марьяна была еще не прочь поболтать, но Сева наскоро распрощался и почти пропустил к ближайшей автобусной остановке: до редакции путь был неблизкий.

* * *

В отделе пропусков «Смены» Севе сухо ответили, что гражданка Козлова работает в третьем отделе, комната двадцать два, но вызвать ее невозможно, так как «у всей комнаты» отпуск до десятого сентября. Собственно, Сева был абсолютно уверен, что везение застать Ксению на месте никак не вписывается в череду его незаслуженных удач последних дней.

Он направился в отдел кадров, и там ему снова подфартило. Немолодая кадровичка, в которой было что-то от породистой борзой, хоть и облапала его всего неприятным липким взглядом, все же купилась на заготовленную им по пути сказочку: я, мол, известный фотограф, ищу Козлову, готовлю серию о буднях активной молодежи по заданию десятого съезда ВЛКСМ, да вас, обворожительная, должны были предупредить.

Сева умел обольщать возрастных чиновничьих дам. Конечно, риск был: в кадрах большой газеты работали исключительно прикормленные органами сотрудники, но эта увядающая барышня не соблаговолила поинтересоваться его документами и даже не взглянула на фамилию, вписанную в крохотный желтый проходной листок. У Севы же на такой случай было заготовлено несколько версий плюс эффектное постукивание ладонями по всем частям крепкого тела, где предполагалось быть карманам: ах, был же паспорт, куда подевался? Но ничего такого не потребовалось: кадровичка, удовлетворившись всего лишь его пропуском в книжное издательство, не моргнув, вынула личное дело и бумажным голосом сообщила, что гражданка Козлова проживает по такому-то адресу, поселок Тайцы.

Сева глянул на фотографию, вклеенную в личную карточку: да, это была та самая тихая аванесовская Ксюша: зачесанные назад волосы, неброское лицо, полустертые черты лица. Черно-белый квадратик фото, черно-белая Ксюша. Был один шанс из тысячи, что это окажется она, и вот очередная удача!

Записав адрес, Сева картинно поцеловал даме руку и откланялся по-мушкетерски, помахав у нее перед носом блокнотом, точно шляпой с пером. Фарс прорезал на сухом лице кадровички кривенькую улыбку, глаза ее чуть окрасились чем-то зеленовато-бульонным. Когда Сева был уже в дверях, она лишь сказала:

— А ведь Козлова не активистка.

— Вот именно поэтому, обворожительная, мы и задумали серию....

Далее Сева виртуозно импровизировал про охват неактивной молодежи, прогресс, процесс, стирание границ между городом и деревней (в данном случае Тайцами) и все в том же духе.

Кадровичка снова кивнула, завороженная Севиной красноречивой тирадой, и он с немалым блаженством выпорхнул наконец в коридор.

На улице у здания редакции он вновь взглянул на запись адреса в блокноте и пошел быстрым шагом к автобусу. Впервые на душе было не совсем тяжело, где-то на доньшке сердца плескалась хворенькая радость. Чему он радовался, было ему самому непонятно.

* * *

На вокзале было суетно и нехорошо. В вагоне пригородного поезда Сева опустился на лавку и ткнулся лбом в деревянную оконную раму. Духота стояла невыносимая, фрамуги, хоть и были опущены, почти не впускали воздух, оставалась одна надежда на то, что, когда тронутся, станет немного свежее. Сева взглянул сквозь немытое стекло на перрон и ощутил знакомый озноб. За окном струилась муравьиная лента вокзального люда: дачники с корзинами и торбами, носильщики с чемоданами, курсанты в форме, праздный и служивый народец, всюду толчея и запахи — вокзальные запахи, которые Сева ненавидел. Никто из его окружения, даже Люська Парашютова, не знал, что тридцать лет назад, в шестом году его нашли грязным оборванным пацаненком на таком же вот перроне — точнее, под перроном, возле прибудной беременной суки, о брюхо которой он грелся. Он не помнил ни своего имени, ни адреса, а из знакомых русских слов выдавал лишь забойные ямщицкие ругательства, стойко компенсируя плевками все сложные согласные, которые не выговаривал. Городовой отвел его в Ипатьевский приют, где его впервые за долгие дни накормили кашей с рыбой, отмыли и записали в книге как Иеронима Николаева, определив на глаз возраст: шесть лет. В общем-то, предсказуемо: 1906 год — вот и шесть тебе годков, ровесник ты индустриального века, а Николаев — по Николаевской железной дороге, где тебя нашли. Фантазия проявилась лишь в имени Иероним, но тут уж надобно простить писчего: жалованье у него маленькое, работа скучная, развлекает себя как умеет.

Из приюта новоиспеченный Иероним сбежал через несколько дней. Воровал еду где придется, его ловили, били, но он снова и снова увертывался. Месяца через два он прибил к большой татарской семье. Его пускали ночевать на лестницу длинного деревянного дома на Лиговке, а иногда и в сени-прихожую, где у него вскоре образовалось «свое» место — плетенный из пестрых лоскутков круглый половичок. Татары не воровали, они «имели деловые отношения». Иеронима быстро научили нехитрому бизнесу: вечером под закрытие булочной на углу Невского и Знаменской площади он покупал за полкопейки, а то и выклянчивал задаром мешочек круглых французских саечек, не купленных за день и изрядно почерствевших. Поутру, встав около пяти, он распаривал их под потоком теплого воздуха на решетке мостовой возле Кузнечного рынка, где в подвалах были прачечные, и работа там начиналась в четыре утра. Сайки приобретали мягкость, и хоть и не прежний, но все-таки товарный вид, и Иероним, завернув каждую в белую бумажку, взятую у татар в счет будущей прибыли, бежал к Николаевскому вокзалу, где уже приезжающие и отъезжающие покупали их по копейке за штуку. В итоге Иеронимка выручал по десять копеек за сделку, половину отдавал татарам, а на свои пять копеек жил, в общем-то, припеваючи — до тех самых пор, пока на том же Николаевском не усмотрел и не признал его тот же городовой и по причине ли служивой упертости или сердобольного суеверия не отвел огольца силой в Ипать-

евский приют. Через сутки его, обдумывающего новый побег, увидел среди двух десятков таких же детишек некто Лапин, из мелких опекунских клерков, дал конфету и, хитро зыркнув, сказал:

— Стой здесь, у печки, через час приедут господа, посмотрят на тебя, — и, приблизив к самому его лицу длинный угреватый нос, добавил: — И не вздумай бежать, покамест не выскажут они.

Что «они» должны были высказать, Лапин не пояснил. План побега к тому моменту уже совсем вызрел в голове Иеронимки, но природное любопытство взяло верх, и он твердо решил дожидаться тех господ. Час растянулся на два, а то и на три, но сдвинуть его от печки хотя бы на полшага не удалось ни приютному воспитателю, ни даже поваренку, на чей стук половником о кастрюлю слетелась, как осы на варенье, вся приютская детвора. Иеронимка втягивал ноздрями воздух с запахом пригорелой каши, без голоса ревел, слизывая соленые слезы, но от печки не отходил. Наконец дверь в залу распахнулась, и вместе с монашкой вошли Лапин и еще двое — мужчина и женщина. Воцарилась тишина. Все смотрели на Иеронимку. После долгой паузы Лапин хохотнул:

— Ну, что я вам говорил.

Незнакомый мужчина зачем-то снял шляпу, помял ее в руке, затем подошел к Иеронимке и положил ему руку на плечо. Женщина осталось стоять на прежнем месте, крылья ее носа были фарфорово-белыми, губы дрожали, пальцы судорожно перебирали костяную ручку сумочки.

— Меня зовут Иосиф Асафович, — сказал мужчина и осторожно заглянул Иеронимке в глаза, — Гинзбург. Видишь ли, Иероним, тут такое дело... Ты очень похож на нашего покойного сына. На Яшу. Сходство... прямо скажем... мне говорили про тебя, но такого я не ожидал...

Женщина всхлипнула и, вынув платок из сумочки, клюнула в него носом.

Иеронимка помолчал, глядя то на странную пару, то на Лапина, то на монашку, и кивнул мужчине со взрослой серьезностью:

— Сева...

— Что-что, дружок? — поднял брови Гинзбург.

— Я вспомнил, — выпалил он. — Меня Севой зовут.

Лязгнули буферы, вагон качнулся, и перрон медленно поплыл. Все быстрее и быстрее замелькали люди, баулы, пегая полоса асфальта, за ней — разбегающиеся во все стороны ртутные нитки рельсов, одноэтажные сараи, длинные кирпичные стены. К Севиной вокзальной ненависти, разбередившей память, прибавилась тоска по рано ушедшим приемным родителям, которых он бесконечно любил, и тягостная маета под сердцем, что вся жизнь его сейчас зависит от того, *что* именно нашептала «кому следует» тихая аванесовская Ксюша и не почата ли злосчастная зефирная коробка.

Мысли петляли, путались. Его *не взяли*, потому что не могли найти: дома он не появлялся, два дня отсиживался у Парашютовой... Или: его *не взяли*, потому что ориентировка была на других... Или: его *не взяли*, потому что не поступил сигнал. Еще не поступил. Жорку *не взяли*, потому что у них с этой Ксюшей любовь, да, есть такая штука-ковина, не устарела пока — ну не смогла девчонка его сдать! Может, Жорка и не знает ничего и правда уехал на рыбалку, зачем вот только Марьяне наврал, что вместе с Райским? И... Сева вздрогнул... может, Жорку схватили первым?

Неожиданно хлынул сильный дождь. Пассажиры поспешили закрыть оконные фрамуги, Сева же с наслаждением подставлял лицо под косые струи, ловил языком влагу и думал, думал, думал, куда ж деться от этих дум! За размытым стеклом проносились столбы, деревья, полустанки, мокрый Сталин на желтом низеньком брандмауэре по-

селкового вокзальчика, гречневая крупка немощных дорог и снова столбы, деревья, полустанки...

Вагонная качка прибавляла ощущение какой-то неприкаянности, мытарства и бесконечного одиночества. И в то же время Сева ясно осознавал, что страх уже поутих, примаясь где-то на доньшке подсознания, притоптался и как будто все равно... И от этого сильнее хотелось сделать что-то хорошее, ну вот хотя бы отвести беду от незнакомых людей, чей приговор прееет в тетрадке под крышкой картонного гробика. И Сева загадал: если его не схватят тут же на пороге Ксюшиного дома, значит, все получится, и зефиром еще никто не лакомился, и удастся уничтожить коробку до того, как кто-то захочет открыть ее.

— О чем так сильно задумался, паренечек, что аж кости лобные скрипят?

Сева вздрогнул. Напротив на лавке сидела странная парочка, он даже не заметил, когда они появились. Оба неопределенного возраста, хотя женщина выглядела явно старше мужчины. У нее было круглое морщинистое, словно жеваное, лицо, а шея и руки молодые, девушкины, и стрижка модная, короткая, волосы оттенка мокрого кирпича, с пыльной серебряной канителью у висков. Это несоответствие показалось Севе тревожным, непонятным. Ее высоченный спутник в брезентовом плаще, больше похожем на мешок для колхозной моркови, с грохотом закрыл фрамугу и посмотрел на Севино мокрое лицо с каким-то гегемонским упреком. Мужчина сел рядом с подругой, и Сева смог получше его разглядеть. Он был одноглазый, с глубокой темной впадиной под нависающей лохматой бровью и волнистыми неровными бороздами на коже по ее краям, словно кто-то выскребал его глаз столовой ложкой. В глазную впадину был вставлен, как лорнет, циферблат старых наручных часов, и их белый глянцевоый лик отвратительно и абсурдно доминировал над всем остальным, что имелось на лице: крупным ноздрятым носом, тонкими губами, маленьким шрамом на восковом лбу. Волосы его дымились сизым куревом невнятных кудрей, а широкие залысины придавали сходство с Марксом, но бороды, к полноте образа, у мужчины не было.

— В Тайцы он едет, не приставай! — мяукнула девушка-бабушка и протянула Севе половину рогалика.

Сева вежливо отказался и собрался уже задать вопрос, но женщина хмыкнула:

— Откудова знаем, хочешь спросить?

Он кивнул.

— Оттудова, — она ткнула пальчиком в вагонный потолок.

— Отгадать несложно, здесь по расписанию поезда... — начал было Сева, но девушка-бабушка резко его перебила:

— Мы не гадаем, паренечек, мы знаем.

— А кто это «вы»?

— «Мы» — это я и муж мой, — она положила голову на плечо спутника и улыбнулась, обнажив редкие плохонькие зубки. — Меня зовут Кика, а его Алеша.

Алеша чуть поклонился, циферблат выпал из глазной впадины и тут же был вдавлен обратно под кустистую бровь. Севе показалось, что этот жест так и был задуман.

— Ну, если вы знаете, куда я еду, так, может, осведомлены и зачем я туда еду?

— А и осведомлены, — Кика бисерно засмеялась.

Алеша прикрыл живой глаз и циферблатом уставился в окно. Кика комкала в одной руке черную ленточку — Севе показалось, что от бескозырки, и рука ее пульсировала, жила своей жизнью, вена на тыльной стороне ладони выпирала синюшным червячком. Это так контрастировало с другой ее неподвижной беловатой кистью, угомонившейся на сгибе Алешиного локтя, что выглядело словно то были руки от разных людей.

— Мы цирковые. Мы знаем.

Она снова хихикнула и, наклонившись к Севе, затараторила:

— Ты тоже нашей кості. Молчи, не перебивай. Вокзальный ты, я это сразу поняла. Не сотрешь ты породу свою ни костюмчиком моднявым, ни очочками интеллигентными. Сердцем чую, сердечко — оно, знаешь ли, не проведешь. Вокзальная мосластость у тебя на лбу выцарапана. Мы с Алешей такие же, своих за версту унюхаем. А едешь ты к девке. Но не к своей, к чужой. По хорошему-то, паренечек, схвататься тебе надо, залезть за печурку и притаиться сверчком, а ты, вот вишь, к девке... Да не смочи меня глазищами, ишь, зыркает! Только напрасно едешь. Никому от этого лучше не будет. От Сома усатого не скроешься, дурачина!

Алеша громко захохотал на ее последнем слове, и циферблат снова выпал из его комически отвратительной глазницы. И было в этом, несмотря на надоевшее карикатурное клише, что-то поистине страшное. Так, подумалось Севе, наверное, выглядит смерть иллюстратора, если взяться ее изобразить...

Тут лица странных попутчиков будто бы преобразились. Сева четко увидел в глазах Кики лукавый Мурин прищур, в ее губах — губы Лариссы, а у Алеши, заметил он, нос, как у Шляпникова, а подбородок Аванесова. И вмиг их физиономии поплыли, смешались, перетасовались, как карточная колода, и он ясно уловил в них черты всей Артели: и Сони Павич, и Бори Райского, и Лоскутенко. Вспыхнула некая сводная сумма всех их лиц, как итог бухгалтерской ведомости, раскрашенная на дьявольской маске двух чужих ему людей, возведенная в высшую степень бреда, и от подобного фантома у Севы свело желудок.

Он вскочил:

— А ну кыш, шушера скоморошная!

Поезд вдруг сильно качнуло, и Сева упал в проход, больно ударившись переносицей об угол лавки. Сразу проверил очки — не разбились ли. Нет, не разбились, просто чудо, еще одно чудо за сегодня. Громко объявили станцию, и несколько засидевшихся пассажиров, подхватив баулы, ринулись к выходу. Севу толкнули, и он снова упал. Когда же поднялся, почувствовал, что из носа льется кровь, стекает по подбородку. Он обернулся и увидел, что лавка пуста, а попутчиков след простыл. Сидящая у противоположного окна полная женщина с мальчиком лет семи учтиво протянула ему носовой платок. Сева кивнул ей, взял платок, приложил его к носу, задрал голову.

— Тут была парочка... Мужик с часами вместо глаза и тетка, маленькая такая, с короткой стрижкой. Вышли на станции?

Она удивленно глянула на него:

— Не было тут никого.

Сева потер ладонью затылок. Голова разболелась нестерпимо.

— Как же не было? Вот тут они сидели, странные такие оба, выглядят как сумасшедшие.

Женщина пожала плечами.

Из тамбура в вагон влилась развеселая молодая компания. Парни и девушки с шумом и хохотом занимали свободные места, трое из них плюхнулись на лавку, где только что сидели Кика и Алеша. Или не сидели... Сева потряс головой, встал и направился к выходу.

— Вы потеряли! — окликнула его девушка.

Сева обернулся. В ее руке была черная ленточка от бескозырки. Он не ответил, сумрачно прошагал в конец вагона и простоял в заплыванном тамбуре до остановки в Тайцах.

Выйдя из поезда, он первым делом подошел к водопроводной колонке, сиротливо и хроменько притулившись у платформы, и, сняв очки, надавил на длинную кри-

вую ручку-рычаг. Когда он подставил голову под струю ледяной воды, стало как будто легче.

— Вот психованный! Мало тебе дождя! — басовито кинула спешащая мимо баба, прикрывая растрепанную голову листом размякшей афиши.

Сева даже не оглянулся на нее, снова надавил на рычаг колонки и долго пил воду. Потом он выпрямился, отряхнулся, как собака, так, что с его мокрых косм полетели струи, сливаясь в единые спицы с каплями дождя, и пошел к деревянной избушке, на которой гордо сияла новенькая нарядная надпись «Почта». Там Сева спросил, как найти нужный ему адрес, и сонная девушка за стойкой махнула рукой, указывая одновременно на все стороны света. По пути он еще несколько раз пытался узнать дорогу у прохожих. Каждый отсылал его по разным направлениям, сходилась все лишь к одной более-менее понятной истине: Ксюшин дом следовало искать на краю поселка, перед пустырем, за вереницей бараков.

Все оказалось так, как он себе и представлял. Кособокая размокшая калитка на одной поющей петле, ржавое ведро в луже, серая стена с бурными кирпичными язвами на штукатурке. И узкая дверь как инородный, грубо имплантированный сустав, когда-то в прошлом филенчатая, со следами старых облупленных красок всех возможных оттенков. Сева постоял немного на ступеньке, протер заштрихованные дождем очки и только поднес пальцы к скобе дверной ручки, как услышал — почуял — за спиной чье-то дыхание.

Он обернулся — рывком, точно пойманный капканом зверь, — и увидел ее. Она стояла, чуть наклонившись под тяжестью ведра, в котором коричневыми голыми детенышами, спинка к спинке, лежали крупные картофелины. Сева смотрел на нее сверху вниз, с высоты одной-единственной ступеньки крыльца, и глаза ее показались ему неправдоподобно большими, зелеными, до смерти напуганными.

— Ксения...

Она дернулась, выронила ведро, картофель покатился по раскисшей земле. Сева подошел, молча собрал картофелины.

— Я помню вас, — вдруг произнесла она. — Вы были там в тот вечер.

Он молча кивнул. Ксения прошла в дом, Сева последовал за ней, хоть она и не приглашала. В крохотных сенях, где она ловким движением высыпала картофель на газету, лежащую на полу, он осторожно рассмотрел девушку. На ее худенькой шее виднелась бордовая натертая полоска — от шерстяной грубой нитки, на которой болталось обручальное кольцо. «Как от лезвия», — подумал Сева.

Ксения теперь не казалась ему чересчур юной. Чахоточный луч, пробивавшийся сквозь окно, словно в подтверждение этой мысли, высветил тонкие белые червячки намечающихся морщинок в уголках глаз. Он заранее заготовил несколько фраз, но, как назло, они вылетели из головы, оставив лишь смутное чувство, что он ведь намеревался быть агрессивным с ней, требовать, обвинять. Как глупо.

— Проходите в дом, — тихо сказала она, смахнув тыльной стороной ладони капли со лба.

Сева дернул дверную ручку и шагнул в комнату. Желтушный свет абажура на секунду залил глаза мутным маслом, а когда картинка стала четкой, Сева вдруг замер.

...За круглым столом, покрытым вязаной скатертью, сидел Жорка Аванесов. Его лицо было бледным, осунувшимся, щеки впалыми. Рядом, на низенькой оттоманке, играл бумажным самолетиком трехлетний мальчик, чернявый и глазастый, до того похожий на Жорку, что Сева не смог сдержать улыбки.

— Как ты нашел нас? — вместо приветствия холодно бросил Аванесов и, взяв из стоящей на столе миски зеленое яблоко, принялся ножиком счищать с него шкурку.

— Долго рассказывать, — ответил Сева и опустил на табурет.

Жора не смотрел ему в лицо, молча резал яблоко и отправлял дольки в рот.

— Ты знаешь, что наши... — начал было Сева, но тут Жорка так громко и искусственно захохотал, что слова застыли на кончике Севиного языка.

— Ты приехал сюда, чтобы сообщить мне вчерашние новости?

Малыш на оттоманке, зараженный Жоркиным хохотом, загоготал тоже, его заливиный смех стеклянным горошком рассыпался по всем чашкам и стаканам, стоящим рядом на буфете. «Откуда тут эхо?» — почему-то подумал Сева.

Занавеска в смежную комнату распахнулась, и вошел человек. «Пожилой» — так показалось Севе, но приглядевшись, он подметил, что ему должно быть лет пятьдесят, не больше. Что-то неуловимо знакомое промелькнуло в его силуэте, в сутулом перекосе плеча и большом, темном на просвет трафарете головы. Мужчина щелкнул выключателем, и под абажуром зажглась еще одна лампочка, влив в желтое мягкий белесый свет. В этом-то освещении стало заметно, что у него нет половины уха. «Будто собаки рвали», — молниеносно пронеслось в голове. И у Севы уже не осталось никакого сомнения, при каких обстоятельствах он видел его раньше.

Мужчина тяжело посмотрел на Севу, читая его как ведомость, и, не отрывая ядовитого взгляда, крикнул:

— Ксюша, дочка, что ты возишься там? Напой гостя чаем!

Затем, приторно улыбнувшись, он подошел к буфету и открыл дверцу. Рядом с нехитрым белым сервизом пирамидкой высилось несколько цветных коробочек, одна на другой, как в кондитерском. Хозяин взял одну и поставил на стол. Конфеты «Белочка», ленинградская упаковка. Краем глаза Сева заметил, что на самом верху буфета, отдельно от других, лежит коробка с зефиром, схваченная крест-накрест бечевой. «Та самая и перевязана так же», — промелькнуло у Севы в голове, и сердце его отчаянно заколотилось.

— Деда, дай! — заверещал мальчик, и хозяин сунул ему конфету.

Сева искал Жориного взгляда, но тот не смотрел на него, продолжая резать яблоко.

— Ну рассказывай, пришлый человек, зачем пожаловал? — хозяин пододвинул стул и сел напротив Севы.

Сева молчал. Страх, который внушал хозяин дома, был какой-то особенный: тебя будто разом выпили, всего, целиком, оставив где-то на донышке желудка кислотный осадок.

Вошла Ксения с чайником в руке, разлила заварку в три чашки — своим мужчинам и гостю, себе наливать не стала.

Все еще улыбаясь, хозяин протянул Севе конфету.

— Не стесняйся. Если не ошибаюсь, Гинзбург, Всеволод Иосифович?

— Не ошибаетесь, — сухо выдавил Сева и отхлебнул чай.

— Сам пришел, надо же. Хотя тебя-то как раз и не искали.

Севу обдало горячей волной. Тысячи слов рвались наружу, но он лишь произнес:

— Почему? Почему меня не искали?

Улыбка хозяина оплавилась и стекла, оставив жесткие марионеточные складки в уголках губ.

— Ты нам не нужен, — и добавил, как курок спустил: — Пока.

— А он? — Сева кивнул на Жорку. — Он нужен?

— А это, гость дорогой, ей решать, — хозяин кивнул на Ксению, стоявшую на пороге комнаты. Глаза ее были жесткими, холодными, губы плотно сжаты.

— Ты спрашивай, не стесняйся, — протянул нараспев хозяин. — Наверняка ведь вопросыки, как клопы, мучают.

Сева сглотнул.

- Я хочу знать, что стало с моими...
- Другьями? Не тушуйся, иллюстратор, называй друзей друзьями, если уж они таковы. Ничего позорного в дружбе нет.
- Мура... М... Мария Феликсовна...
- Жива. Что с этой богемной курицей будет?

Комнату заполнила тишина такой плотности, что слышно было движение воздуха. Заскользила долгая тягучая минута, а за ней выстрелом — предательский миг, и вот в этот-то самый миг, как по волшебству, Мура — кружевная, шелестящая умница Мура оказалась Севе вправду курицей. И то как она смотрит, наклонив голову чуть набок и при этом округляя глаза, и как приоткрывает тонкий рот и оставляет вот так, словно сейчас закудахнет. У Севы даже дыхание замерло от такой яркой картинке.

- А Шляпников?
- Шляпников? — хмыкнул хозяин, — Пижон. Фасону на рубль, а нутро на копейку. Петушок.

И Сева тут же представил лощеного Шляпникова, всеобщего любимца Шляпу, в его парижском клетчатом пиджаке с накладными плечами, лаковых штиблетах, с вечной полуулыбкой и чуть надменно поднятым подбородком, — представил его петухом на жерди, и даже смешно стало. Действительно, фанфарон...

- А Лоскутенко, Райский...
- Пустозвоны. Графоманы. Погремушки копеечные.
- А дамы? С-с.. Софья Павич? И Ла...
- Не смешите. Мелкая крупка. Бусины стеклянные.

И перед Севиными глазами отчетливо нарисовалась вся компания — такая, какой представил ее безымянный хозяин этого странного дома. Все друзья в один злосчастный миг почудились ему если не калеками, то точно ущербными, глупыми — как вот петухи и курицы или никчемные безделушки. Взгляд хозяина был гипнотическим, хищно-ласковым, он высасывал душу через зрачки собеседника — так, что почти физически ощущалась пустота в глазницах, как у Алеши из поезда.

И время поплыло, растянулась мягкой резиновой лентой, намоталось на бабью скалку у печки, утекло куда-то в низкое окошко. Хозяин говорил что-то, и что-то говорил Сева. Страх переродился в нечто более чудовищное, мохнатое, огромное. Оно подняло голову внутри Севы и хрустко заворочило позвоночником. Сколько прошло времени? Пять минут? Десять? Четверть часа? Он не понимал, лишь чувствовал, что произошло что-то важное. Жизненно важное. Перед глазами скакали буквы и — как умиротворяющий их демон — вилась змеей чернильная подпись по белому полотну бумаги — кольцами, кольцами и хвостом вверх!

Да что ж за наваждение такое! Сева даже остервенело потряс головой — и едва не слетели очки. Хозяин молчал, лишь глядел теперь как-то особенно.

Севе стало невыносимо жарко. Он поднялся, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, мокрой от дождя, посмотрел в низенькое оконце. Во дворе стояла Ксения и разговаривала через калитку с двумя прохожими. Сева пригляделся, прищурившись... Короткая стрижка не то девушки, не то бабушки, что-то блестящее в глазу ее долговязого спутника в плаще... А не Кика ли это с Алешей?..

Сева отшатнулся от окна, тряхнул головой, словно пытался прогнать морок.

— Что вас так испугало, Всеволод Иосифович? — холодно спросил хозяин. — Неужто понятия наши? Да-да, зазываю иногда. Очень бывает необходимо. Вот и сегодня, как знал, как знал...

Сева снова взглянул в окно: никого не было. Только Ксения по-прежнему стояла во дворе. Он прилип к стеклу — дорога просматривалась очень хорошо, но ни одного прохожего ни справа, ни слева на весь широкий обзор.

— Али и почудиться могло, — совсем по-деревенски лукаво молвил хозяин. — Дождь кончился, а туман обманчив. Я тоже в этом доме часто обманываюсь. В городе не так. А когда к дочке приезжаю, все по-другому.

— Понятые... — сдавленно проговорил Сева.

Аванесов тоже встал, подошел к окну, наклонился, будто высматривая дорогу, и едва слышно прошептал Севе: «Вали отсюда».

Сева и сам уже обдумывал пути отхода. Когда хозяину надоест играть с ним, как коту с полудохлой мышью, кто знает, что он учудит. Позовет этих странных понятых в дом... Сева ощутил острую кислоту во рту.

— Вы спрашивали, что стало с вашими *друзьями*, — хозяин выделил голосом «друзьями» и вытащил из кармана папиросу.

Сева оцепенело молчал.

— Живы, — продолжал хозяин, затягиваясь. — Хоть и не все заслужили это. Но живы, — и чуть слышно прибавил: — Пока.

— Что с ними теперь?

— А что с ними будет? — брови хозяина поползли вверх. — Дома они уже. Мелковата рыба. Через них на больших людей хотели выйти. Может, и выйдем еще.

И он засмеялся — рывками, будто выталкивал смех из глубины горла вместе с дымом. Сева снова посмотрел на Жору. Но тот всячески избегал его взгляда.

— Мы о вас тут беседовали с Георгием, — хозяин кивнул на Аванесова. — Надо бы, думали, заглянуть к вам, а вы вот и сами... Удивительные совпадения, не правда ли, Всеволод Иосифович? Я ведь сам нечасто сюда навещаю: дела, дела... Слышь, Георгий, а ты говорил, никто тебя здесь не вычислит. Молодец, гражданин Гинзбург, такого сыскаря к нам в отдел бы!

Он выпустил колечко дыма и сощурился.

— Вот видите, это совсем не страшно. Вы сделали правильный выбор.

Сева удивленно таращился на его руки, гладившие листок бумаги на столе. Хозяин усмехнулся и пододвинул листок Севе. Ужасная догадка полоснула по сердцу, и прежде, чем он успел отрицательно помотать головой, заметил собственную подпись в самом низу листка.

— Да что вы так побледнели-то, а, Всеволод Иосифович? Вы сделали благое дело, — продолжал хозяин, покусывая папиросу. — А дельце-то ерундовое, копеечное. Никак не можем подобраться к одним ин-те-рес-ней-шим персонажам. Московским. Ленинградская ваша Артелька мелковата, не время пока ее давить, хотя да, пощекотали маленько, ну уж никто, поди, от инфаркта не умер, нет. Ведь не умер? — он снова повернулся к Жоре.

Тот покачал головой.

— На вас, Всеволод Иосифович, большая надежда. Уж не подведите нас, — хозяин пристально посмотрел на Севу сквозь сизую вату дыма. — Теперь вы с нами. А и всегда с нами были, ведь так?

И мгновенно морок сполз. Сева почувствовал ледяную струйку пота, ползущую по позвоночнику. Что произошло за эти пять-десять минут? Был ли он под гипнозом, или это чувство страха парализовало его мозг настолько, что он подписал все, что ему подсунули? И что, что, что, бога ради, там, на листке? Какие сведения он мог дать, ведь он же не знает ничего, ни в чем не замешан? Или знает? Или замешан?

Сева почувствовал, что задыхается. Нет, гипноза никакого не было. Он сам... Добровольно... Чистосердечно...

Что с ним творится? Он ли это — а может, другой, подменный? Как же ему теперь жить, жить-то ему как?

— Жить будете вполне неплохо, — словно поймав его мысли, неспешно продолжал хозяин. — Мы правильных людей привечаем, под крыло берем. Наше покровительство, поверьте, вещь хорошая, нужная, а в вашем конкретном случае — просто *жизненно* необходимая. Вы, Всеволод Иосифович, поверьте моему слову, еще неоднократно благодарить нас будете.

...Сева слушал вполуха, сам проворачивая в голове пути ухода из этого гиблого дома и не находя подходящего варианта. Рассудок трещал. И снова пришел липкий страх, но уже иной — страх как-то неправильно сейчас себя повести. И в то же время блаженное осознание того, что он точно может вернуться сегодня домой, в Ленинград, грела душу. «Трусливую мою душу», — с горечью сказал сам себе Сева.

Хозяин все говорил и говорил. Потом замолчал, потушил окурок о блюдце, и Сева понял, что речь окончена.

— Я... пойду... — едва слышно спросил Сева и не узнал собственный голос.

И опять тишина, и бешено стучит сердце. И после вечности тихий ответ:

— А мы вас и не держим.

Сева встал, судорожно соображая, в какой стороне дверь.

— Девушка-то есть у вас? — ласково сощурился хозяин.

— Есть. Люсей зовут, — соврал Сева.

— Хорошее имя. Конфет вот возьмите ей в подарок. Скажете, от хороших людей. И... до скорого свиданьица, Всеволод Иосифович.

— Она конфеты не очень, — захлебнувшись от внезапного вдохновения, выпалил Сева. — Она зефир любит...

— У нас, кажется, было. Георгий, одари стоворчивого гостя.

Жорка встал, подошел к буфету. Сердце Севы ухнуло и замерло на пару мгновений. Господи, Господи! Это единственное, чем он может сейчас... Нет, не обелить.... Не будет ему прощения никогда, никогда, никогда. Гореть ему, гореть в огне! Он загадал: пусть, пусть будет та самая коробка! ГОСПОДИ, ПУСТЬ БУДЕТ ТА САМАЯ КОРОБКА! Ну что тебе стоит, Господи? Это же такая мелочь...

Простуженно скрипнула дверца, и Жорина рука достала цветастый картонный прямоугольник, перевязанный крест-накрест грубой бечевкой. Секунды казались вечностью: растянута, вязкой, приторной до тошноты. Мальчик взревел, увидев коробку, потянулся к ней.

— Нельзя тебе! — цыкнул на него Жорка. — И так уже конфет сегодня переел!

Сева взял драгоценный дар и попятился к выходу, не веря до конца, что вот так вот он уходит, уходит живым, и бумаги с ним. Это самое малое, что он может сделать — для себя, для того Севы Гинзбурга, который остался по другую сторону той роковой четверти часа. Только бы не передумали с подарком!

Сойдя с крыльца и чуть было не подвернув ногу на его единственной ступени, Сева наконец-то набрал полные легкие воздуха. После дождя дышалось легко и свободно. Насекомые парились близко к земле, и начинало заметно темнеть.

Ксения стояла у забора, одной рукой приоткрыв для него калитку. Подойдя к ней, он кивнул на прощание и уже на дороге зачем-то оглянулся. В глазах ее было что-то... он мог бы поклясться... что-то такое, о чем он впоследствии помнил всю свою жизнь, до самой смерти. Какая-то прозрачно-серая глубина, какая бывает, когда заглядываешь в прорубь; и тишина, как если бы в эту прорубь бросить камень и дожидаться из-за лета последнего всплеска; и огромная затаенная печаль; и, самое главное, такое нечто, как будто знала она что-то, но не решалась высказать даже полувзмахом ресниц.

Прижимая обеими руками к груди заветную коробку, Сева добрался до станции, купил билет. Поезд на Ленинград подошел почти сразу. И что только за долгую доро-

гу домой ни стучалось в Севину голову под мерный стук колес! Он долго смотрел в окно: тянувшиеся вдоль полотна дороги старые дома, покрытые кое-как осиновым гонтом, напоминали издали разрушенные кумирни. Сева почувствовал озноб и еще крепче прижал коробку к телу, точно она могла его согреть, стереть все его грехи, стать для него спасительной индульгенцией. Как много теперь значила для него эта коробка, как бесконечно много! Все теперь было ее средоточием: и собственный человеческий облик, и надежда на то, что когда-нибудь его поймут и простят, да и просто возможность дышать. Вдох — выдох, а иного и не требуется. Он все больше и больше думал о Ксении, оставляя события прожитого дня блекнуть под матовым стеклом памяти, и сам не понимал до конца, как этот день его изменил.

Войдя в подъезд своего дома на улице Марата, Сева взлетел по ступеням, вошел в квартиру, с наслаждением вдохнул запахи родной коммунальной кухни и, закрыв дверь своей комнаты на ключ, потянул за бечевку.

...В коробке аккуратной алебастровой кладкой лежали ракушки бело-розового зефира.

Сева медленно опустился на пол, положил одну из них в рот и так просидел до утра, глядя в одну точку, пока за окном не соткался такой же бело-розовый невский рассвет.